

Максим Горький

О вреде философии



Максим Горький
О вреде философии

«Public Domain»

Горький М.

О вреде философии / М. Горький — «Public Domain»,

«... Я давно уж почувствовал необходимость понять – как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и – в сущности – очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса; эта книга показалась мне скучной, – я не стал читать ее...»

Максим Горький О вреде философии

... Я давно уж почувствовал необходимость понять – как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и – в сущности – очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса; эта книга показалась мне скучной, – я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубашке, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой «Нерукотворенного Спаса». Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то угрюмо, не то – насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, умник, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство, а главное – полезен, укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор – суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

– Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей. Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе зубы, все они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что – намеренно или нечаянно – отравился в 1901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89–90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато-забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании. Помню – мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, – она давала нам рубль в день, – и вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито-гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь – смотрите там».

Сто двадцать три И двадцать два Сто сорок пять Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет, – теноришко его звучит все более гнусно. Наконец – прошу:

– Перестань.

Он смотрит на стенные часы и – говорит:

– У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Алилуйю» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра...

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему: «Гегель и Сведенборг». Гегелева феноменология духа воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли Кавказским хребтом, он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется – Николай, сожалея, ответил:

– Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суемудрая штука. Ты – не поймешь. Но, знаешь ли, – забавнейшая история.

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением говорил мне о «мистике разумного». Я, действительно, ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

– Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть, и приблизительно – так же полезно.

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

– Ага, требуется философия, превосходно. Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

– Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса.

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем густо обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника, густо разрастались, закрыв дорожки тысячью цепких веток; по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

– Будем философствовать, – говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища. Он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал – «подожди» – и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд; небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кашенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна доносился старческий кашель.

– Вот что, брат, – заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос, тебе следует отнестись ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто, – забыл кто именно, – весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

– Ты – человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уж чувствуешь: свобода мысли – единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

– Все, что я сказал тебе – вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме

математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь. Я рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

– Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существовании истины или же, не считаясь с фактами – творить фантазии. В стороне от этого – под, над этим – Бог. Но – Бог – это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но – я его не хочу. Видишь – как нехорошо я думаю. Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они – в положении чертей, которым надоел грязный ад, но не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

– Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но не знаем – то ли, так ли мы думаем, как надо. А ты – и в это не верь! Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, – я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута! Вероятно – одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни. Эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем – человек жаден. Это одно из его достоинств, но – по недоразумению, а, вернее, по лицемерию – оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавилась в огне утренней зари.

– Спасибо, Николай!

– Пустяки.

Я пошел.

– Слушай-ка, – весело и четко прозвучал голос Николая, – в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан. Так он говорит: – Истина – это только мышление о ней. – Ну, иди. До завтра.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел на небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном лирическом настроении, – вот передо мною открываются «врата великих тайн»!

Но на другой день Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неопишимо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на-бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечески ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминающая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветки и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога

верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, – вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразлично подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

– Ты уснул? Не слушаешь?

– Больше не могу.

– Почему?

Я объяснил.

– У тебя, брат, слишком разнузданное воображение, – сказал он, закуривая папиросу. – Это не очень похвально. Ну, что ж, пойдем гулять?

Пошли на «Откос», по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром, – это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, – и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на «Откосе», глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд и – вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или – по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку, и вот – сейчас она низринется на землю.

Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, – все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток, – чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, – от него падают, как срезанные невидимой пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот все на земле

превратилось в столб зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди – я, один на четыре вечности. Именно – на четыре, я видел эти вечности, – огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я Бога, – это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах, – благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотую иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога – пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечесьё ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, – вырастает и – слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клочок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее «Откоса» и отводил домой, ласково уговаривая:

– Засэм гуляйш больной? Больной – лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, – это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время, как скучный голос, – неведомо чей – шептал, напоминая тихий шум дождя:

– Черти делятся на различные категории, но общая цель всех – помогать людям в поисках несчастий.

– Это – ложь! – кричал я, озлобляясь. – Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щекоткой калитки, открывает дверь крыльца, прихожей и – вот он у меня в комнате. Он – круглый, как мыльный пузырь, без рук; вместо лица у него – циферблат часов, а стрелки из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это – муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

– Вон! – кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену, – это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопнуть дверьми, не беспокоить спящих, вылезая в сад, – там сижу до утра.

Утром, за чаем хозяйка говорит:

– А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

В ту пору я работал как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

– Вы – с ума сошли! Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедленно переписать, – сегодня истекает срок подачи. Удивительно! – Если это – шутка, то – плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

– Ночь бесконечно длится. Муке моей нет меры! Если б умел я молиться! Если бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона; я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

– Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете, – такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет, и похудели вы ужасно.

– Бессонница, – сказал я.

– Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади ломового извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

– Анафема!

Или вот на скамье у бульвара, у стены Кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:

– Бога нет!

Она удивленно, обиженно воскликнет:

– Как? А – я?

Тотчас превратится в крылатое существо и улетит, – вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, – я, как можно скорее, стороной, почти бегом – уйду.

Все – возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно – если долго бить кулаком по твердому, – убеждаешься, что оно существует.

Земля – очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, оставаясь темной, – и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, – оно длится секунды.

Небо – тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не пережалеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, – наверное, применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал:

– Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и – стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин – как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, – это будет полезно.

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне.

– Я кое-что слышал о вас, и – прошу извинить, если это не понравится вам – вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, – возбуждало у вас фантазию, а она – совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но – на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано – хорошо. Сначала изучить, потом – противоречить, – так и надо.

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чорта:

– А – бабеночка очень полезна для вас.

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал – от крестьян – трагикомическую историю ее разрушения.

Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены он так и говорил: «кое-какие» – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердисься все, строг и заносчив стал. Это – от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не бог людей судит, это – чорту лестно. Прощай, ну...

И отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру...

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукой, а другой, – концом старенькой шали отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы; одна из его стен выходила на пустырь пожарища; на пустыре густо разрались сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины, возвышались развалины кирпичного здания; под развалинами – обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из маленьких кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя самое?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои; – тащит лошадка воз в гору, и знает – не вывезу, – а все-таки везет.

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба. Она порезала ножом палец себе, высасывая кровь опустила на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, чорт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай...

А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлхмаченный и, как всегда, веселый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать.

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:

– Не в духе.

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще – нервнее мужчин, таково свойство их природы, – это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется швейцарцем. Джон-Стюарт Милль, англичанин, или кто-то другой, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Лярош-Фуко и Лярош-Жаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмуре, или – наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юно-

сти не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство; еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить – неизвестно за что – приبلудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне, – я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодетелей для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не мне только одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, – и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаст его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, – я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик Учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять боязно? Девке честь – все ее достоиние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт.

Рыженький, бритый точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо»:

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту. Баба, баба! – выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на все пойду. Для нее, как для чорта – нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано.

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, – его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространенная песня:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это...

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Максим, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищутив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

– Что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом, с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

– Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свяжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет – без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах обманная чистота души. Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя. Знаю – врет, а верю – правда. Умом – твердо знаю, сердцем – не верю, никак.

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто, мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев и однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, а особенно много – о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две – три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов; надсадно, волками, воют матросы на караване барж; где-то бьет молот по железу; заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – все бывает...

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни – все уже было, больше ничего не будет.

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними.

Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, итти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов я уже прочитал немало серьезных книг, – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнев. – Смуглый, синеволоосый как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, – он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике; не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удалству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам, – очень отвечали измятая, рваная рубаха, штаны в заплатках и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжелой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы – все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе – «Марусовке», вероятно знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна – стол, стул и это – все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем, – сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, обедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но из-за жалости подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор: – Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика.

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетающуюся, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

– Эвклид – дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека...

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет, исходя от математики, доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места, – по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, – я – ночами, он – днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром; я тотчас бежал в трактир за кипятком, – самовара у нас, конечно, не было; потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика фельетониста «Красное домино» и удивлял меня шутивным отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике и трогательными песнями, когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры, обильно катились мелкие слезинки; она стогняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у которых сердце сучает в одинокой жизни.

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего скорняка, парень среднего роста, широкогрудый с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента были маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо тарасились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, вопреки воле отца, голодный, как бездомная собака, он исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, – сын у нее был уже студент на третьем курсе, дочь кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие, серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я с Плетневым не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось нам страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты и обреченно, тоскливо смотрят вперед, но – кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

– Смотри, – сказал Плетнев, – точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион.

– Сконфуженный человек я, – каялся он, выпивши. – И – зачем надо мне петь? Ведь с такой рожей и фигурой – не пустят меня на сцену, не пустят!

– Прекрати эту канитель! – советовал Плетнев.

– Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а – жалко! Если бы вы знали, как она – эх...

Мы – знали, потому что слышали как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

– Христа ради... голубчик, ну – Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень тесно набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам, прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел, – непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орал похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

– Зачем все это?

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его «Рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, а – разорю их в дребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: – что, черти? То-то!

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу.

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек, – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам «Рыжий конь» пил только ром, – напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темнорыжие пятна; – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю. Ей богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза «Коня» жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.

– Как вы живете? – кричал он. – Голод, холод, одежда плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да, это не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К чорту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам, однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевых, смятых в твердый ком и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо...

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал так, что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разглядеть деньги, но это оказалось невозможно: они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтобы отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома – тесно и душно, шумно и кошмарно. «Конь» орет всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! и я – тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

– Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, чорт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбно-рядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городской в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей, несколько раз в день его аккуратно выгесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом зрителя Зоологического сада в клетки зверей. Зимой, в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их, – а также Зобкина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию. А однажды ночью был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал «Блуждающей колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидел молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай...

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу:

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился, сердито щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах конспиративных.

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую, серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: я приезжий...

Таинственное всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный яркий день, в поле серую былинкой качается одинокий человечек, – вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидел пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ошипанное, – как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им; я согласился, и мы расстались, – он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Дж. – Ст. Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика Учительского института Миловского, впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством; – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой «для равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Дж. – Ст. Милля не увлекало меня; – скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне; я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне казалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя, едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком, по вечерам, с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, не знакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое, – мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром, – артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны; ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях, – артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом – начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что

уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей металась черная тень, глухо топя ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью – делать, слаще которой только объятия женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий – должно быть хозяин груза или доверенный его – вдруг заорал возбужденно:

– Молодчики, ведро ставлю! – Разбойнички, два идет! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рывкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, – в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любясь своей силой, своим трудом. А, тут еще, ветер разорвал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес, сверкнул розоватый луч солнца – его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содействовать чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжелой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиет!

Посвистывая, виляя телом как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, за ними шумно пировали грузчики; в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню.

Эх, было это дельцо ночью порой, Вышла прогуляться в садик барыня – эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит, Видит – барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым – по отчаянному цинизму – вероятно, нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, – ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы; дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор; за этой комнатой продолжая ее – помещалась тесная кухня; за кухней в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, – таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика», – все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о «народнике»; в моем представлении народник революционер, а революционер не должен верить в бога, – богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.